

Викентий Вересаев

В степи



Викентий Викентьевич Вересаев

В степи

Аннотация

«Пассажирский поезд остановился у маленькой степной станции. Солнце жгло, было жарко и душно. Немногочисленные пассажиры вяло переговаривались или дремали, закутав головы от мух.

Дали второй звонок...»

Содержание

I	4
II	9
III	15
IV	20

Викентий Вересаев

В степи

I

Пассажирский поезд остановился у маленькой степной станции. Солнце жгло, было жарко и душно. Немногочисленные пассажиры вяло переговаривались или дремали, закутав головы от мух.

Дали второй звонок.

Под окнами вагонов, на стороне противоположной станции, медленно прошли по шпалам два загорелых мужика. Один из них, с большою, лохматою головою, имел за спиною холщовый узел, а на плече держал косье с привязанной к нему косой; другой мужик, громадного роста и широкоплечий, хромал на левую ногу; у него не было ни узла, ни косы, и через плечо был перекинут только дырявый зипун.

Мужики шли вороватою походкою, исподлобья посматривали на поезд и словно хоронились от кого-то. Вдруг хромой мужик остановился, быстро огляделся по сторонам и полез по ступенькам на площадку вагона. Следом за ним хотел лезть и его спутник. Он уже ухватился за столб перил, но в это время из окна вагона выглянул кондуктор. Лохматый мужик крякнул, поправил узел за плечами и пошел вдоль поез-

да. Кондуктор следил за ним пристальным взглядом. Мужик шел по шпалам все дальше и уже оставил за собою последний вагон. Раздался третий звонок, поезд тронулся. Вдруг мужик быстро повернулся, встряхнул узлом и бросился догонять поезд.

– Я-а тебе! Я-а тебе! – угрожающе крикнул кондуктор, высунувшись из окна и грозя пальцем.

Поезд все прибавлял ходу. Мужик, ожесточенно нахмурившись и не глядя на кондуктора, продолжал бежать, вскидывая в стороны худые, стянутые в онучи ноги. Из окон выглядывали пассажиры.

– Ну, ну, землячок!.. Эх, не догонит! – волновался парень в серой блузе.

– Не догонит!

– Куда уж догнать! Не догонит теперь!

– Догонит, ей-богу, догонит! – крикнул парень. – Ну, ну, земляк! А-а, те-те-те!..

Мужик добежал до заднего вагона и, цепляясь за перила, вскочил на ступеньку; узел потянул его назад, – мужик взмахнул рукою и чуть не сорвался, но устоял.

Кондуктор бросился на площадку. Пассажирам не было его видно. Они видели только, как мужик, стоя на нижней ступеньке, что-то говорил, угрюмо глядя вниз, потом махнул рукою и спрыгнул обратно с быстро шедшего поезда.

В вагон вошел хромой мужик, ускользнувший от глаз кондуктора. Он высунулся из окна и долго смотрел назад, где в

пыли, поднятой поездом, исчезал его товарищ.

– Земляк, что ли, будет тебе? – сочувственно спросил парень в блузе.

– Земляк, – пробурчал мужик, не глядя на парня, и сел.

В дыры его грязной холщовой рубахи глядело бронзовое тело, лицо было почти черное от загара. Огромный и оборванный, с обмотанною тряпками ногою, он блестел белками злых глаз и исподлобья поглядывал вокруг. Парень подсел к нему с разговором. Мужик порывисто встал и, не отвечая, высунулся из окна.

Вошел молодой кондуктор в белом кителе.

– Господа, кто с Мандрыковки садился, билеты позволите!.. Билет твой! – вдруг быстро обратился он к хрому мужику.

– Нету билета.

Кондуктор молча развел руками.

– Ну вот, что ты с ними будешь делать?... Господа! Да ведь невозможно! – усталым, усевещивающим голосом заговорил он. – Ведь мы подначальные люди, мы не можем даром народ возить! С нас за это взыскивают... Как остановка будет, пожалуйста, слезай! Честью тебя прошу!

Для поездной прислуги стояло тяжелое время. Из «России» нахлынули в степь бесчисленные массы косарей. Между тем солнце выжгло траву, сенокос на всем протяжении степи не состоялся. Отощавшие и обносившиеся, косари скитались по выжженной степи, плелись по бесконечным

тропинкам вдоль полотна дороги. Одни возвращались назад, другие шли дальше, на Черноморье и Кубань. Они потеряли всякий страх: стоило кондукторам зазеваться, и в поезде немедленно оказывалось несколько десятков безбилетных «зайцев». Практика давно уже выработала такой образ действия: кондукторы зорко следят на станциях за приближающимся косарем и энергично отражают его попытки проникнуть в поезд; но раз он уж очутился в вагоне, на него машут рукою и, без всяких тасканий к начальству, просто высаживают на следующей станции: все равно взятки с него гладки.

Поезд дал свисток и начал замедлять ход. Хромой косарь поспешно встал, захватил свой зипун и перешел в соседний вагон; там ой сел на лавочку за дверью. Поезд остановился.

Через нагон прошел кондуктор и увидел косаря.

– Ты не сошел? – изумился кондуктор.

Косарь поднялся.

– Да куда же я пойду? У меня ноги больные! – ожесточенно воскликнул он, глядя на кондуктора как затравленный волк.

– Ах-х ты господи! – Кондуктор замолчал и оглядывал его с ног до головы. – Я тебе говорил, как человеку, а теперь что же? Я должен бить тебя по шее!

– Смилуйтесь, господин кондуктор!

– Ступай ты, ради бога! Пойми, мы не можем даром возить народ... Ведь вот человек!

Он взял косаря за рукав, вывел на площадку и заставил

слезть.

Залихватски закатился кондукторский свисток, ему в ответ рывкнул паровоз, далеко впереди пискнул рожок стрелочника, поезд дрогнул и двинулся.

II

На станции стихло.

Косарь напился из кадлушки теплой воды и пошел в степь: около линии нечего было рассчитывать ни на работу, ни на милостыню. Дорога вилась вдаль слабыми, ленивыми извилинами. Кругом до самого горизонта тянулась степь и степь – ровная, неподвижная, залитая горячим солнцем. Трава была мелкая и редкая, повсюду серели большие плешины голой, выжженной солнцем земли. Ветер слабо дул с запада, шелестя травой; с ветром несся издалека тонкий, нежный запах свежего сена, но запах шел не от рядов и копен, а от травы, на корню сохшей под жгучим солнцем.

Косарь шел, хромая, и тяжело опирался на палку. Солнце било в лицо, во рту пересохло, на зубах скрипела пыль; в груди злобно запеклось что-то тяжелое и горячее. Шел час, другой, третий... Дороге не было конца, в стороны тянулась та же серая, безлюдная степь. А на горизонте слабо зеленели густые леса, блестела вода; дунет ветер – призрачные леса колеблются и тают в воздухе, вода исчезает.

Около дороги, на рубеже, стояла каменная баба. Косарь сел к ее подножию. В ушах звенело и со звоном проходило по голове, в глазах мутилось от жары и голода. Больная ступня ныла, и тупая боль ползла от нее через колено в пах.

Вокруг было просторно и пусто. Только далеко на дороге

чернела фигура идущего человека. В блещущей синеве неба парил коршун, потревоженные овражки перекликались между собою из-под земли отрывочным, звенящим свистом. Каменная баба в колпаке, – серая, поросшая зеленоватым мохом, – сторбившись, смотрела в степь с злым, как будто живым лицом; нижняя часть лица была пухлая и обрюзгшая, руками она держалась за живот, и казалось, что она кисло морщится от боли в пустом желудке. Косарь охватил руками колени и застыл, глядя вдаль воспаленными, красными глазами.

– Цс-сык! Цс-сык! Цс-сык! – явственно звучало вокруг, как будто десятки кос дружно резали густую, сочную траву. По небу молнией проносились невиданно громадные черные птицы, и путник с трудом соображал, что это – увивающиеся вокруг его головы мухи. Над горизонтом по небу стали протягиваться густо переплетающиеся, движущиеся ветви, вдали потянулись гуськом косари в красных рубахах; они шли один за другим, с закинутыми на плечи косами, и им не было конца. Все это был обман, и путник знал это: за время скитания по степи ему не раз уже, особенно по вечерам, мерещились странные вещи. И ему казалось: ему стало бы легче, если бы не шли вдали косари, если бы не мелькали по небу черные птицы и не звучали невидимые косы, режущие невидимую траву...

Косарь вздрогнул и поднял голову. На дороге стоял невысокий человек в нанковом подряснике и смотрел на него.

Добродушное лицо было потно и одутловато, за плечами висела на ремнях объемистая котомка.

Человек свернул с дороги к бабе. Он молча спустил с плеч котомку, сел, вздохнул и, сняв скуфейку, провел рукою по длинным волосам.

Косарь мрачно смотрел и молчал. Человек в подряснике не торопясь раскрыл котомку. Достал краюху пшеничного хлеба, воблу, бутылку водки.

– И много же тут нынче вашего брата полтавца набилось! – говорил он, раздавливая сургуч о подножье бабы. – Никогда еще столько не бывало. Что грачей в поле, так всюду вашего брата.

Он ударил ладонью о доньшко бутылки, пробка вылетела, и водка в горлышке запенилась. Косарь молчал и злыми глазами косился на соседа.

– Шли траву прибирать, а травку-то сам господь прибрал, для себя! – продолжал человек в подряснике. – Вот и гуляй теперь по степи без дела.

Он отпил из горлышка водки и, как будто это само собою разумелось, протянул бутылку косарю. Косарь дрогнул, нерешительно оглядел длиноволосого человека. Потом вдруг на черном лице закривилась улыбка, он поспешно протянул руку и бережно принял бутылку.

Человек в подряснике прожевал воблу. Он подвинул закуску к косарю и спросил:

– Отколе сам будешь?

– Из Тамбовской губернии.

Косарь отпил водки, утер усы и осторожно, словно боясь потревожить рыбину, отколупнул кусок. На лице его была теперь напряженно-предупредительная улыбка.

– Давно ходишь?

– С пасхи.

Косарь помолчал.

– Шли, шли, милый человек мой, – заговорил он, стараясь не глядеть на закуску, – все думали, дойдем до настоящего места. Обносились, обтрепались, хуже нищих сделались, – нету работы!.. А народ все знай валит. И куда идут-то? Сами не ведают. Друг у дружки так и рвут кусок изо рта!

– Косу-то проел уж?

– Проел... Все проел... Да вот ногу еще испортил.

– Не родилось ничего, вот причина. Засуха! Да ты ешь, что ж ты? Отхлебни еще разок!

– Не обидно будет тебе? – спросил косарь с закривившеюся снова улыбкою и исподлобья взглянул на собеседника.

– Ну, что ты! Господи помилуй!.. Знай ешь!

Косарь с наслаждением отхлебнул еще водки и принялся за рыбу.

– Я тебе все это дело обскажу повнимательнее, – заговорил он, жуя. – Говоришь, не родилось ничего. Не в этом штука. Тут штука вот такая: время наше прошло. Был тут год один, – после холеры который, этот!.. Трава во какая была, жито – не прожнешь. А народу мало подошло. И пошли по

экономиям косилки, жнейки всякие. С той поры, можно сказать, хорошо и не бывало. Раньше за лето пять-шесть красненьких домой принесешь, – ну, теперь этого уж нету!

– Ты, куда ж сейчас идешь?

– Домой бы добраться, да вот нога шибко идти не пускает.

Человек в подряснике помолчал.

– А то пойдем со мною, – сказал он, глядя в степь. – Мое дело легкое.

– А ваше какое же дело будет? – осторожно спросил косарь, переходя на «вы».

– Со святым припасом хожу.

– Гм! Странник, значит, будешь?

– Вроде как бы странника.

– В Ерусалиме был?

Странник загадочно ответил:

– Я где и не был, а все знаю.

Косарь покосился на него.

– Из стрелков, значит, будешь?

– «Из стрелко-ов»... Поучить бы тебя, дурака!.. Ну, да жалко мне тебя. Куда ты пойдешь, такой-то? Бог уж с тобой, пойдем вместе. И мне веселее будет, а то скучно одному... Тебя как звать-то?

– Никитой.

– Ну, Никита, вставай! Будет, отдохнули. Вон уж где солнышко. Скоро деревня будет.

Странник приладил к плечам котомку, они встали и по-

шли.

Странник, маленький и пухлый, шел мелкими шажками, опираясь о камышовую палку, а рядом с ним ковылял огромный оборванный косарь.

– Ты издалека ли сейчас идешь? – спросил взбодрившийся от водки Никита.

– Да со станции.

– Долго что-то шел!

– Там еще дела кой-какие надо было справить – поторговать, чайку попить...

Никита громко расхохотался.

– «Дела»!.. Нешто это дело? Сказал бы – поработать, а то «чайку попить»! Это не дело! Это значит – в мамон свой закладывать, а не дело!..

– Буде грохотать, расстегнул пасть! – сурово обрезал его странник. – Вон она, деревня, видишь?... Я что ни буду рассказывать, ты все знай – молчи; все равно как будто немой будешь. На ночевку оставлять станут – не оставайся: переночуем в степи.

Вдали, в неглубокой балке, серели крыши деревни и зеленели вербы. На пригорке маленькие восьмикрылые мельницы лениво махали кургузыми крыльями.

III

Солнце садилось. Красные лучи били по пыльной деревенской улице, ярко-белые стены хат казались розовыми, а окна в них горели кровавым огнем. Странник и Никита сидели на крылечке хаты, окруженные толпою хохлов – мужиков и особенно баб.

На столе странник разложил весь свой святой припас. Тут были раковины с «Мертвого моря», собранные на морском берегу в Одессе, были пузырьки с ижехерувимскими каплями, восковые огарки из-под святого огня, картины и фотографии.

Он держал в руках ярко раскрашенную картину, изображавшую новоафонский Симоно-кананитский монастырь; на горах, усеянных деревьями, похожими на зеленые бородавки, белели златоглавые церкви, а в небе стояла богородица, простирая ризы над монастырем.

Странник рассказывал о святой и тихой жизни в благочестивом монастыре; он рассказывал певучим, высоким голосом, каким читают в церквах апостола степенные и толковые дьячки, желающие читать «с чувством». Никита, наевшийся вкусного борща с помидорами, чувствовал блаженное отяжеление в теле. Он слушал странника и медленно моргал глазами.

– Отстояли мы обедню, вышли на волю, – рассказывал

странник. – Глянули на кумпол – и что же, братцы вы мои? Стоит на облачке сама матушка богородица! Все равно как вот на картине тут... Сияние от нее – глазам больно смотреть, солнцу подобно... С ним вместе были! – прибавил он своим обычным голосом, кивнул на Никиту и оглядел его ясными, умиленными глазами.

Никита пошевелился и стал густо краснеть, косясь на окружающих.

– Немой он, говорить не может сыздетства, – объяснил странник. – Ну, хорошо, ладно! – продолжал он прежним голосом. – Увидали мы с ним – смутились в сердце своем, пали наземь. И взмолился я к владычице небесной: «Мать пресвятая богородица, утешение всех скорбящих! Будет ли товарищу моему спасение, отверзятся ли ему уста?» И случилось тут знамение... Глянула на нас матушка, за угольшек ризу взяла свою и три раза его вот благословила, раз! два! и три! – больше ничего.

Он вопросительно оглядел слушателей. Бабы скорбно вздыхали и качали головами. Старик хохол, с трубкою в зубах, слушал с чуть заметною усмешкою, засунув руки в карманы шаровар.

– Это что значит?... Значит: молись и веруй, три года тебе терпеть, а там будет тебе по вере твоей...

Странник замолчал. Никита сидел красный и волком глядел вокруг.

– Веруй в матушку, и все приложится тебе, – снова загово-

рил странник. – Помни бога, для него живи в мире, для него трудися! – Странник значительно погрозил пухлым пальцем. – А мы как? Всё о себе печалуемся, как бы помягче пожить да послаще... Ну вот потом сам и платись!.. В киевских пещурах мощи лежат братьев-плотников. Построили они храм успению пресвятой девы Марии. Явилась она им, спрашивает: «Чего хотите, – *сиречь* злата, *сиречь* царствия божия?» Двенадцать братьев запросили царствия божия, а тринадцатый на злато прельстился, добра запросил. Ну, стал он жить – хорошо жить стал, мягко, жирно... Прожил год и стал думать в своей голове: «Что я такое исделал?» И ужаснулся он. Пришел к матушке, пал в ноги: «Прости, говорит, за глупость, не отринь раба твоего!» А она и говорит: «Ничего теперь не могу сделать тебе. Видишь, мощи братьев твоих лежат: если раздвинутся, дадут место, – твое счастье». Взмолился он к мощам: «Братья мои милые, единоутробные! Пожалейте грешника, дайте промеж себя местечко!» Сдвинулись братья, только не хватило для него целого места, втиснулся он промеж них плечом. Так по сие время и лежат, – двенадцать к небу ликом, а этот промеж них боком...

– А це кто? – прервал его старик хохол, рассматривавший фотографию образа из киевского собора св. Владимира.

– Никита-столпник, святой угодник переславский, – скороговоркой ответил странник. – Видишь, на столбе стоит? Тридцать лет и три года простоял...

Он передохнул, быстро высморкался пальцами и тем же

певучим голосом стал рассказывать. Рассказывал, как в молодости Никита был «суров и мятежник», как обижал он людей и как явилось ему знамение: жена его варила мясо и увидела в кастрюле кипящую кровь; в крови мелькали человеческие головы, руки и ноги. Позвала она Никиту, он посмотрел и ужаснулся: «Увы мне, много согреших!..» Пошел к монастырю, влез в болото и три дня просидел в трясине, отдав себя на пищу комарам и жабам. Потом явился к игумену, пал в ноги и стал молить указать ему труд, – «токмо, отче, спаси душу погибающему!..» И построил он себе столб и стал служить богу. Зиму и лето, день и ночь стоял он на столбе и все молился. Дождь его мочил, снег засыпал, клевали вороны, – он все молился; в каждой руке он держал на весу по тяжелому камню, вериги на теле от многого труда сделались блестящими, как золото...

Хорошо рассказывал странник. Лицо у него было светлое и вдохновенное, голос проникал в душу. Кругом молчали. Солнце село. Никита смотрел на лежавшую перед ним фотографию и не мог оторвать глаз; высокий, худой и изможденный, стоял угодник на бревенчатом срубе; всклокоченная седая борода спускалась ниже пояса, щеки осунулись, лицо было бледное и мертвенное; потухшие, белесые, как у трупа, глаза смотрели в небо.

И странное что-то творилось с Никитой. Он слушал вдохновенного рассказчика и забыл, что перед ним не больше как «стрелок». И все смотрел на фотографию, и она оживала под

его взглядом: в старческом, трупном лице угодника, в невидящих, устремленных в небо глазах горела глубокая, страшная жизнь; казалось, ко всему земному он стал совсем чужд и нечувствителен, и дух его в безмерном покаянном ужасе рвался и не смел подняться вверх, к далекому небу.

Никита поднял голову, подпер щеку кулаком и задумчиво смотрел на затихавшую степь. По этой степи он скитался два месяца, злобный от голода и унижений, полный одним собою. Все пережитое, вся злоба и страдания казались ему теперь мелкими, и он стыдился их. Стыдился, что муки эти он переносил для самого себя, и что они так малы и ничтожны, и что в них нет ничего, что уносило бы его вверх, прочь от земли, как этого угодника.

IV

Темнело. Странник и Никита оставили за собою деревню и шли по степи. Никита ковылял на больных ногах и молча, с пристальным вниманием косился на спутника: лицо странника казалось ему чуждым, чуждым и страшным в своей чуждости. А странник шел рядом, беззаботно посвистывал и дышал прохладой.

Далеко на юге чернели неподвижные тучи, оттуда шло непрерывное, глухое ворчание. Кругом еще сильнее пахло некошеным сеном. Ветер слабо дул, шурша сухой травой.

– Ну, поглядим, сколько нынче бог послал! – заговорил странник. – Э-эх, коробушка-матушка, вались на травушку!

Он скинул котомку наземь, опустился на траву. Никита стоял и молча глядел.

Странник вытащил из кармана деньги, стал считать; оказалось семьдесят три копейки; было тут и от продажи «святого припасу», были и деньги, данные бабами на свечи угодникам в Соловках, куда будто бы направлялся странник. Потом он вытащил из котомки холсты, яйца, бутылку с водкой.

– Что ж, Никитушка, давай делиться! – ласково сказал странник.

Никите что-то сдавило горло. Он стоял, расставив ноги, и в упор смотрел на странника.

– Знаешь что? – проговорил он срывающимся голосом. –

Тебе одна дорога, мне – другая. Прощай, брат! – И он махнул рукою.

Странник изумленно вытаращил глаза и вскочил на ноги.

– Что ты? Господи помилуй, чего ты? – Он оторопело вглядывался в Никиту. – Ду-ура ты, дура деревенская! – неожиданно расхохотался он и весело всплеснул руками.

Никита исподлобья оглядел странника – и вдруг, закусив губу, с размаху ударил его тяжелым кулаком в лицо, – ударил больно, крепко, с дикою радостью ощущая, как хрястнул под кулаком нос его спутника...

Странник, с залитым кровью лицом, сидел на земле и испуганно, плачущим голосом ругался. А Никита, не оглядываясь, шел вперед в темневшую степь.